

уже однажды был предметом критического обсуждения. Полемика разыгралась за десять лет до его письма во круг строчек в «Руслане и Людмиле»:

Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание

«К стыду моему, должен признаться, — писал тогда А. Ф. Воейков, — что я не постигаю, что такое *могильный, гробовой* голос. Не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?»²

«...Вы, видно, многого еще не постигаете, — иронически парировал А. А. Перовский, — могильный голос значит: голос, который кажется выходящим из могилы, по-нем.<ецки> Grabesstimme, по-франц.<узски> voix sépulcrale»³.

Для Воейкова выражение звучало как слишком смелая поэтическая метафора, для Перовского — как языковая метафора, привычная в европейском словоупотреблении.

Вяземский не оспаривал ее законности, — она смущала его только в применении к Вольтеру. «Слишком балладно». Образ фернейского патриарха — воплощение рационализма XVIII столетия — должен был быть трактован с рационалистической ясностью и на него не должна была упасть ни одна тень «балладного» романтизма.

«Могильный голос» Вяземский читал как метафору литературного происхождения, растворяющуюся в цепи побочных, сопутствующих значений: «загробный», «потусторонний», «таинственный», «нереальный»...

Он не принял во внимание, что Вольтер действительно обладал глухим и громким голосом, на что обращали внимание посетители Фернея.

Г-жа де Жанлис рассказывала: «У него был могильный голос (une voix sépulcrale), придававший его речи странную тональность, тем более, что он имел обыкновение говорить чрезвычайно громко, хотя и не был глухим. Когда разговор не шел ни о религии, ни о его врагах, беседа его была проста, естественна и — при его уме — весьма приятна»⁴.

Из этих воспоминаний, вызвавших при своем появлении большой интерес в русском обществе, — сменившийся, впрочем, некоторым разочарованием, — Пушкин, видимо, и взял свой эпитет, — не как метафору, а как реалию. Не исключено, что и князь Юсупов, без сомне-

ния, перелиставший воспоминания Жанлис и помнивший свое собственное впечатление, обратил внимание Пушкина на эту характеристику

Как бы то ни было, она принадлежала не «балладе», а мемуарному свидетельству.

Впервые: Русская речь. 1986. № 4

¹ Звенья Т. 6. М.; Л., 1936. С. 256.

² Сын отечества. 1820. № 37. С. 150.

³ Там же. № 42. С. 82.

⁴ Mémoires T. II. Paris, 1825. P. 329; ср.: Державин К. Н. Вольтер. М., 1946 С. 444.

Устная новелла Пушкина

В рукописном отделе Российской государственной библиотеки (бывшей Библиотеки им. В. И. Ленина), в фонде Веневитиновых хранится тетрадь, принадлежавшая Владимиру Александровичу Соллогубу, одному из лучших русских прозаиков 1840-х годов. Тетрадь служила Соллогубу как черновая для его беллетристических опытов; но одновременно он вписывал в нее и услышанные им от разных лиц рассказы и исторические анекдоты в частности, о времени Павла I. Один из этих рассказов начинается именем Пушкина.

Соллогуб общался с Пушкиным недолго, но близко. «Он поощрял мои первые литературные опыты, — читал нам в его поздних мемуарах, — давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Не могу простить себе, что не записывал каждый день, что от него слышал»¹. Эти встречи происходили поздней осенью или в начале зимы 1836 года, когда был исчерпан конфликт Пушкина и Соллогуба, возникший из недоразумения, но едва не приведший к поединку. Примирение произошло в мае; до осени Соллогуб пробыл в служебной командировке и вернулся в

Петербург лишь в октябре. Тогда-то он и услышал пушкинскую новеллу, которую вписал в тетрадь почти через десять лет, в середине 1840-х годов:

«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в Министерстве ин.<остранных> дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел² и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ е.<го> и.<мператорского> в<еличества>» — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать³. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказа и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий⁴ чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

— Что ж государь? — спросил Пушкин.

— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.

— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.

— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу»⁵.

Как мы уже говорили, Пушкин рассказал этот анекдот в 1836 году; услышал же он его значительно раньше, когда ему случилось дежурить в Коллегии иностранных дел. Это было в первые годы после его выхода из Лицея. 15 июня 1817 года он был приведен к присяге и зачислен на службу, и до своего отъезда из Петербурга в мае 1820 года мог нести дежурство неоднократно, — исключая, конечно, время отлучек, — например, с 8 июля по конец августа 1817 года, — или болезни⁶. Анекдот, таким образом, имеет как бы две даты и связан одновременно с двумя стадиями исторического и литературного сознания Пушкина.

В 1810-е годы его остро интересует история царевий-

ства 11 марта 1801 года, но более всего в ее социально-политическом качестве. Так эта проблема предстает в «Вольности» и позднее, уже на юге, в «Заметках по русской истории XVIII века». Нет сомнения, что в эти годы Пушкин не раз слышал анекдоты о Павле и его времени — от Карамзина, от Н. И. Греча, включившего их в свои поздние записки; на юге — от графа А. Ф. Ланжерона, от Д. Н. Бологовского, участника заговора и других⁷. Все вероятные источники осведомленности Пушкина, разумеется, учесть невозможно, как невозможно представить себе тематический и сюжетный репертуар рассказов, бывших в его поле зрения. Один из них, однако, может привлечь наше внимание: это несомненно известный Пушкину рассказ его лицейского товарища В. К. Кюхельбекера о своем отце Карле фон Кюхельбекере, бывшем при Павле директором и устройтелем Павловска. Его записал со слов самого Вильгельма Кюхельбекера Н. А. Маркевич, ученик его по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте. «Разговаривая со мною о катастрофе Павла, — вспоминал Маркевич, — он мне сказал, что в последние дни жизни императора отец его вошел в случайную милость царскую и чуть не сделался таким же временщиком, как Кутайсов. Павел не мог уже обходиться без него; в самый вечер перед последней ночью, увидя между дворцом и садом несколько ленточников, он послал его узнать, что значит это собрание. «Пользуются хорошою погодою, — сказал Кюхельбекер-отец, возвратясь к царю, — прогуливаются».

Ночью Павла не стало. Когда Кюхельбекеру захотелось поцеловать руку покойного царя, его не допустили часовые. Тело лежало в комнате, куда вела двойная дверь; известно, как толсты иные стены в Михайловском замке. Четыре часовых стояло в дверях: пара с одной стороны дверей, другая — с другой. Увидя графа Палена, проходящего, Кюхельбекер бросился к нему просить, чтоб его пропустили к покойнику; ни слова не отвечая, Пален дал знать рукою, чтоб часовые впустили его, а сам прошел мимо. Внутренние часовые не видели этого знака и скрестили ружья; Кюхельбекер хотел воротиться, но впустившие его солдаты скрестили тоже ружья и не выпустили его, и он более двух часов простоял в амбразуре дверей в виду тела своего благодетеля, между четырьмя скрещенными штыками.

Не случись эта катастрофа, еще месяц, другой, и

граф Кюхельбекер не был бы преподавателем русского языка в Санкт-Петербургском университетском пансионе»⁸. Анекдот этот несколько напоминает пушкинский: действие в нем также разворачивается накануне гибели Павла, и, как и у Пушкина, случайность играет в нем принципиальную, а в литературном отношении и сюжетообразующую роль. Наконец, оба рассказа принадлежат почти одному времени (1817—1820) и выходят из одной среды.

Тем не менее ни один из этих исторических анекдотов не отражается ни в художественном творчестве, ни в письмах и записях раннего Пушкина, дошедших до нас. Интерес к жанру придет позже, вместе с эволюцией исторических представлений Пушкина.

Интерес же к теме его не покидает. В 1826 или 1827 году он задумывает трагедию «Павел I», о которой рассказывает на вечере у Н. А. Полевого 19 февраля 1827 года⁹. В его дневнике 1833—1835 годов и заметках «Table talk» есть более десяти записей о Павле.

Этих упоминаний мало, чтобы построить целостную картину отношения Пушкина к Павлу и его царствованию, — но их достаточно, чтобы наметить контур некоторой эволюции¹⁰.

В первые послелицейские годы Павел для него — «тиран», «увенчанный злодей», российский Калигула. Правда, и убийцы его вызывают у юного поэта чувство отталкивания: «янычары», подобные зверям. Фраза в дневнике «романтический наш император» указывает не столько на изменение общей оценки, сколько на смещение угла зрения. Внимание Пушкина обращено теперь и на психологию личности, в которой странно смешиваются противоположные свойства и склонности: гуманные побуждения с бессмысленной жестокостью, своеобразная «рыцарственность», кодекс сословной чести, чувство справедливости с неограниченным деспотизмом и самодурством, здравый смысл с психическими аномалиями. Романтическая идея возрождения рыцарства в его идеальном, «средневековом» смысле лежала в основании консервативной утопии, которую пытался осуществить Павел и которая принимала столь гротескные формы в реальной действительности¹¹.

В тридцатые годы Пушкин внимательно присматривается к парадоксам социальной жизни и индивидуальной психологии, избегая однолинейных, тривиальных оценок.

Тогда-то и всплывает в его памяти забытый анекдот, как бы вписывающийся в это новое направление интересов, и становится рядом с другими, которые Пушкин собирает в эти годы: от Загряжской, в салоне Фикельмонов, в самом Аничковом дворце, черпая их из уст живых свидетелей павловского царствования. Помимо всего прочего, это была «история домашним образом», вырастающая из самого быта, сохраняющая его живые черты, интонации и запахи.

Не зная исходного рассказа, мы не можем судить, как он преобразился в передаче Пушкина и затем под пером Соллогуба. В поздних мемуарах Соллогуб цитировал по памяти пушкинские письма с почти текстуальной точностью. В его рукописи есть следы работы над текстом, — но она минимальна; невыправленные погрешности против практической стилистики как будто говорят об экспромтном характере записи. Сам прекрасный рассказчик, Соллогуб очень ценил и чужое слово и, как мы знаем от него самого, не мог простить себе, что не записывал разговоры с Пушкиным по свежим следам. В его передаче улавливаются общие принципы пушкинского построения новеллы: стремительно развивающийся сюжет, освобожденный от побочных описаний и еще подчеркнутый протокольным лаконизмом малораспространенных предложений, и остропсихологическая ситуация, занимающая как бы периферию рассказа, — парализованный страхом чиновник действует силой канцелярского автоматизма, предписывающего начинать переписывание с заголовка; способность к рациональной волевой деятельности у него подавлена полностью и восприятие диктуемого текста заторможено: наконец, чувство страха и ожидание наказания увеличивается у него с каждым пропущенным словом, безостановочно следуя друг за другом. По динамически возрастающему напряжению эта ситуация напоминает другой психологический этюд Пушкина — переданную Нащокиным историю любовного приключения со светской женщиной (как предполагается, с графиней Д. Ф. Фикельмоном). В нашем рассказе напряжение разрешается резким спадом, производящим впечатление комического облегчения по контрасту с ожидаемым: расправа, сравнительно легкая, последовала мгновенно и исчерпала инцидент — император «ничего-с»: «изволил <...> ударить <...> в рожу и вышел». Столкновение стилистических рядов — канцелярски-высокого и вульгарно-просторечного — уси-

ливаает разрешающий комизм концовки. При этом она оказывается совершенно «в духе Павла», вернее, того его облика, который закреплен многочисленными рассказами о его импульсивном поведении: под влиянием минуты принят важный указ, под влиянием минуты и по случайному поводу указ этот уходит в небытие.

Здесь мы подходим к глубинному смыслу анекдота, скрытому за пародийностью внешнего содержания. Этим смыслом он не мог наполниться в 1810-е годы. Проблема исторической случайности стала занимать Пушкина только в Михайловском. 13 и 14 декабря 1825 года он пишет «Графа Нулина»; происхождение поэмы он объясняет в специальной заметке, которая может служить своеобразным введением к его анекдоту о Павле.

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? — Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, и я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть»¹².

Анекдот о Павле словно травестирует вторично эту травестию истории и Шекспира.

Что если б императору *не* пришла в голову мысль дать пощечину провинившемуся чиновнику, не охладить тем свою «предприимчивость» и не «отступить»?

Последние дни его царствования были чреватые переменами, которых ждали с минуты на минуту; непредсказуемая воля самодержца могла на какое-то время изменить течение внутренней и внешней политики страны, коснуться престолонаследия, разрушить случайными арестами уже зревший заговор¹³. Эта обстановка, прекрасно памятная современникам, конечно, была известна и Пушкину; она объясняет не только интерес его к содержанию указа, продиктованного спешно, ночью, в подпольном здании Коллегии иностранных дел, но и определяет место, которое принадлежит указу в сюжет-

ной структуре. Два контекста — созданный самой повествовательной сферой и более широкий, реально-исторический — увеличивают напряженность ожидания значительного события и поднимают концовку на уровень не только стилистического, но и исторического гротеска.

Но в гротескности этой сквозит глубокая философская мысль.

В статье об «Истории русского народа» Н. А. Полевого Пушкин определит случай как «мощное, мгновенное орудие Провидения», которого не может предвидеть человеческий ум¹⁴.

Случай разрушит замкнутый, непротиворечивый, безукоризненно логичный мир причин и следствий, который строит для себя Сальери и Германн в «Пиковой даме».

В 1836 году Пушкин рассказал Соллогубу анекдот о случае, о несостоявшейся русской истории новейшего времени, — и эта новелла — один из немногочисленных дошедших до нас образцов его устного творчества — отразила в миниатюре его литературные и исторические интересы тридцатых годов.

Впервые: *Временник Пушкинской комиссии.* 1972. Л., 1974. Для наст. изд. переработано.

¹ Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л. 1988. С. 467.

² Далее зачеркнуто: «вслед за ним».

³ Далее зачеркнуто: «Павел».

⁴ «Дрожащий» вставлено.

⁵ РГБ (бывш. ГБЛ). Внев. 65.12. лл. 57—55 об. (заполнение шло в обратном порядке). Тетрадь датируется серединой 1840-х годов (одна из последующих записей имеет дату «1846»). По нашей публикации 1974 г. текст новеллы Пушкина был перепечатан в кн.: *Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века/Вступит. статья Е. Курганова. Сост. и прим. Е. Курганова и Н. Охотина//М., 1990.*

⁶ См.: Цявловский М. А. *Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина.* Т. 1. М., 1951. С. 127 и след.

⁷ См.: Фейнберг И. *Незавершенные работы Пушкина.* 4-е изд. М., 1964. С. 401—413.

⁸ *Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 295—296.*

⁹ См.: *Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты.* М.; Л., 1935. С. 276—278; Цявловская Т. Г. *Пушкин в дневнике Франтишка Малевского//Лит. наследство.* Т. 58. М., 1952. С. 266.

¹⁰ Об этой эволюции см.: Эйдельман Н. *Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта.* М., 1984. С. 181—223.

¹¹ См. о ней: Эйдельман Н. Я. *Грань веков.* М., 1982. С. 56—85.

¹² Пушкин. Т. 11. С. 188.

¹³ Шильдер Н. К. *Император Павел Первый.* СПб., 1901. С. 466 и след.

¹⁴ Пушкин. Т. 11. С. 127.